

УДК 82.09

DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-3

Н.М. РАКОВСКАЯ,

кандидат филологических наук, доцент,

заведующая кафедрой мировой литературы

Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ КРИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

В статті йдеться про те, що сучасна гуманітарна наука спрямована на синтез її складових: філософії, історії, культури тощо. У цьому аспекті виникає зацікавленість дослідженням тексту, який, з точки зору М. Бахтіна, є розташованим у центрі гуманітаристики. Художній текст є дослідженим достатньою мірою як з точки зору лінгвістики, лінгвопоетики, так і в аспекті літературознавства. Разом із тим осмислення критичного тексту до сьогоденного моменту є невідрефлексованою проблемою. Критичний текст багато в чому визначається часом і простором, в якому він створюється. Внаслідок цього позначається безпосередній зв'язок з культурно-історичними епохами. Інтерпретація меж критичного тексту осмислюється не лише жанровими дефініціями, композиційними конструкціями, але, перш за все, світобаченням, створенням різноманітних моделей свідомості і мислення, орієнтованих на гетерогенність філософсько-естетичних ідей.

Визначається, що поняття межі тексту є вельми умовним. Межі характеризуються прозорістю, розпливчатістю, можуть мати нечіткі орієнтири. У статті доводиться, що межі перш за все проявляються в структурованому просторі тексту. Вони пов'язані з поняттями «край» («межа») і «подія», і орієнтовані, на відміну від «країв» та «подій», на особистісне, суб'єктивне сприйняття критиком межі тієї чи іншої епохи та переходу в іншу просторову сферу. Критик переживає події як розрив у часі та просторі, руйнацію цілісності, історії та свого особистого «я». Внаслідок зазначених чинників виникають відчуття «подій на межі». У такому випадку межі корелюють з екзистенцією бачення світу, про що свідчать опозиції «час – вічність», «закритість – відкритість», «знання – віра». Межі критичного тексту наповнюються ментальними значеннями. Критичний текст виявляється пов'язаним із культурним трансфером, тобто зверненістю до різних культур і цивілізацій, просторових історій. Виникає ре-інтеграція культурного знання. Парадоксальність, метафоризація чітко простежуються в структурі тексту: критик – текст – читач.

Методи дослідження: рецептивний, структурно-семіотичний, феноменологічний.

Ключові слова: критика, межі, модель, парадокс, подія, границя.

Современная гуманитарная наука стремится к синтезу её составляющих: философии, истории, культуры и т.д. В этом плане возникает интерес к исследованию текста, который, с точки зрения М. Бахтина, находится в центре гуманитаристики. Художественный текст в разных аспектах исследован современными учёными, как лингвистами, так и литературоведами. Вместе с тем осмысление критического текста до сегодняшнего времени остаётся неотрефлексированным. В статье актуализируется проблема интерпретации критического текста с точки зрения определения его внешних и внутренних границ. Значимость критического текста и его границ во многом определяется временем и пространством, в котором он создаётся. Вследствие этого обозначается непосредственная связь с культурно-историческими эпохами. Интерпретация границ критического текста ориентирована не только на жанровые дефиниции, композиционные конструкции, но прежде всего отражает мировидение критика, создание различных моделей сознания и мышления.

В статье указывается, что понятие «границы» весьма условно. Границы характеризуются прозрачностью, зыбкостью, могут иметь нечёткие ориентиры. В статье доказывается, что границы прежде всего проявляются в структурированном пространстве текста. Они связаны с понятиями «предел» и «событие», но ориентированы, в отличие от «пределов» и «событий», на личностное, субъективное восприятие критиком рубежа той или иной эпохи и перехода в иную пространственную сфе-

ру. Критик переживает события как разрыв во времени и пространстве, разрушение целостности истории и своего личного «я». Вследствие указанных факторов возникают «события на пределе». В таком случае границы коррелируют с экзистенцией или intersубъективностью. Об этом свидетельствуют оппозиции «время – вечность», «замкнутость – открытость», «знание – вера». Возможны ситуативные границы, подчёркивающие процесс переосмысления ценностей. В таком случае смысловые поля наполняются ментальными значениями. Критический текст оказывается связанным с культурным трансфером, то есть обращённостью к разным культурам и цивилизациям, пространственным историям. Возникает ре-интеграция культурного знания. Рассматривается парадоксальность, метафоризация в структуре текста, определяя его сущностные границы.

Ключевые слова: критика, границы, модель, парадокс, событие, предел.

Современная гуманитарная наука находится в постоянном поиске. Об этом, в частности, свидетельствуют литературоведческие практики, использующие теоретические знания философской, психоаналитической, социокультурной мысли. Не случайно художественный текст, его осмысление в разных аспектах, по определению М. Бахтина [3, с. 365], является исходной точкой всякой гуманитарной дисциплины. Концепции М. Бахтина, Ю. Лотмана, Ж. Женетта, С. Зенкина, Р. Барта, А. Греймаса, Ж. Батая, В. Тюпы, Ю. Кристевой, М. Мамардашвили, А. Пятигорского и др. актуализировали интерпретацию текста с точки зрения его границ и внетекстовых связей.

Вошли в научный оборот такие понятия как интертекст, гипертекст, сверттекст и т.д., имеющие свои разнообразие границы. Однако их трактовка в целом ряде работ неоднозначна и часто противоречива. Что касается критического текста и его границ, то данная проблема отрефлексирована явно недостаточно.

Как нам представляется, понятие «граница текста» является весьма условной, ибо границы характеризуются прозрачностью, зыбкостью, в связи с чем не могут иметь четкого определения. Ряд литературоведов полагают, что понятия границы, отграничения, разграничения, контура, рамки, предела находятся в одном ряду. Думается, что границы прежде всего проявляются в структурированном пространстве текста, который, по определению Р. Барта, является «галактикой означающих», в связи с чем Р. Барт называет теорию текста гифологией, что означает «ткань» или «паутина» [2]. На наш взгляд, разница между границами и пределами очевидна. Пределы связаны с проблемой переходности, сменой культурно-исторических эпох, эстетических парадигм, временных циклов и, в онтологическом аспекте, являются пределами человеческого бытия.

Более того, предел подводит нас к пониманию «События» в историко-философском контексте. Здесь важны масштабы исторического времени, определяющие смену культурных парадигм, то есть превалирует объективный подход и аналитика. Граница не столь четко связана с объективным фактором. Выделяя ее, мы прежде всего ориентируемся на личностное, субъективное восприятие конца времен и перехода в иную пространственную сферу. В определенной степени граница в критическом тексте означает отношение к памяти, традициям, связанное с движением литературного процесса, изменчивости типов литературы и культуры, появлением разнообразных форм мышления и сознания, в том числе рефлексивного сознания, и его воплощения в индивидуальных авторских концепциях. Отметим, что в критической рефлексии наблюдается иной ракурс видения «события». Критик переживает «событие» часто как разрыв во времени и пространстве, разрушение целостности как историко-философского явления и своего личностного «я». Вследствие указанных факторов наблюдается духовный и душевный кризис, ощущение критика в ситуации абсурда, попытка выйти из него либо игровыми включениями в текст, либо парадоксальностью суждений. На наш взгляд, возникает одновременно ощущение «события на пределе», обозначенное экзистенциальными границами. В этом же плане предлагаются модели выживания, преодоление чувства обреченности, смертности, выхода в параллельные миры. Появляются границы смыслового пространства, которые носят диалогический характер. Они часто основываются на оппозициях: время – вечность, замкнутость – открытость. Еще Н.И. Надеждин указывал на необходимость вычленения границ в различных культурных эпохах. Так он полагал, что античное искусство характеризуется «размыканием времен», средневековое – «прерыванием времён» [14]. Если продолжить эту линию, то на

наш взгляд, в постмодерной литературе происходит «разрыв времен», в авангарде «выпадение из целостного времени». Безусловно указанную точку зрения не следует воспринимать как абсолютную, но тем не менее, она позволяет более четко выстроить связи между границами критического текста, культурно-историческими эпохами, макро- и микроконтекстами. Ю. Лотман связывает данную проблему с завершенностью или незавершенностью текста как целого, или фрагмента текста как части целого. Уточнение литературоведом неизбежно актуализирует проблему не только терминологического понятия «граница», но, прежде всего, обозначает системный подход к интерпретации текста как целого. В связи с этим для нас важно, что Ю. Лотман делает акцент на понимании текста как единицы коммуникативного и рецептивного ряда [13]. Это имеет особое значение, когда речь идет об интерпретации критического текста, в котором определяются границы и взаимосвязи между концепцией писателя, его авторской моделью, интерпретацией критика и рецепцией читателя. Границы критического текста и художественного текста различны. В критическом тексте границы проявляются в модели мира, представленной в диалогическом контексте: автор, критик, читатель. Границы подвижны, не завершены, диалого-проблемны. Полемика, как правило, является центростремительным началом в критическом тексте на протяжении всех этапов развития литературно-критического процесса.

Однако каждый период имеет существенные отличия; так в XVIII – нач. XIX вв. центр условной границы «полемики» находится в диалогах, связанных с появлением новых литературных направлений; либо трактовках понятий «риторичность» – «художественность». В конце XIX – нач. XX вв. критика характеризуется активной включенностью в религиозно-философское знание. Спорным является суждение С. Зенкина, полагающего, что в XX в. происходит разрыв между литературой, критикой и философией. На наш взгляд, практически каждый значимый критик создавал свою модель мироздания, свою «религию» и с этой точки зрения трактовал творческий процесс в целом, и индивидуальность писателя в частности [10, с. 512]. Менялись мышление и сознание, следовательно, слово, стиль, жанр (Е.М. Черноиваненко). Возникали в тексте новые границы, которые были близки к оппозициям: дилемма знания и веры; божественное и профанное, духовное и телесное. Их интерпретация вела к дополнительным смысловым значениям парадокса, парадоксальности, антипарадоксальности, метафоры, метафоризации, текстуальности, и интертекстуальности. Таким образом, границы критического текста оказывались связанными с декодированием фикциональных смыслов, значимости поступка в философском смысле слова (жизнь и идеи; идеи и поступки), образа и вещи как семиотических объектов [11]. Из этих границ складываются так называемые мыслительные схемы, «внутренние формы мысли», свидетельствующие об особенностях мышления (гносеология и онтология как уровни мышления). Интерпретация образа, вещи определяли суть феноменологического смысла, в связи с опытом телесного самосознания. Возникает необходимость в определении границ критического текста как философско-эстетических (М. Бахтин, Ю. Лотман), семиотических (Ж. Женетт, Р. Барт), ментальных (В. Тюпа, С. Бочаров, П. Зюмтор). Эти границы с точки зрения С. Зенкина можно определить, как «границы компетенции».

В этом аспекте можно размышлять и о парадоксальности как условной границы, неотъемлемо связанной с антиномичностью и центробежностью (А. Боронин [5]). Думается, что сигналы-сообщения и знаки-символы, существующие в тексте, являются своеобразными ключами к определению «мерцающих» границ.

Об этом свидетельствуют подходы к интерпретации критического текста Анджея Валицкого, Бруно Шульца (Польша), Анны Степановой, Надежды Сподарец (Украина), Шона Берка (Шотландия), англоамериканских литературоведов (Питера Барри, Томаса Иглтона, Е. Добренко и др. В указанных работах критический текст рассматривается в широком культурном контексте. С точки зрения семиозиса исследуют проблему границ текста лингвисты (А. Боронин, Н. Кондратенко, А. Вежбицкая, Т. Рымарь).

Что же касается критической рефлексии, в рамках которой формируется текст, то ей свойственны оппозиции знания и веры, разума и чувства, времени и вечности, и возникающие вследствие этого границы текста. Очевидно, что критическая рефлексия конца XIX – начала XX вв. сформировалась под влиянием западноевропейских философских и эстетических систем. Значительную роль сыграли концепции русских философов Вл. Соловьёв-

ва, П. Флоренского, С. Булгакова. В статьях критиков религиозно-философского сознания отразилось ощущение приближающейся катастрофы, апокалипсиса, обусловленное трагической историей рубежа эпох, в связи с чем возникает «отвержение» рационализма, тяготение к интуитивному и бессознательному. Смысловое поле наполняется метафизическими и трансцендентальными значениями, которые реализуются в знаковой системе и блоках информации. Можно согласиться с точкой зрения А. Жеребина о том, что пространство этого периода характеризуется «повышенной семиотической активностью» [9, с. 305].

Этот фактор заставляет задуматься о четком употреблении категорий, в частности, таких, как: критическая рефлексия, критический текст, границы текста и связанные с ними понятия «взаимовлияние» и «взаимоотражение». При всей очевидной близости они всё же принципиально различны. Об этом писал Т. Элиот, размышляя о функциональной традиции в статье «Назначение поэзии и назначение критики». Р.Т. Громьяк в статье «О предмете литературной критики» предсказывал, что новации в теоретических исканиях могут стать препятствием для точного показателя различных стратегий чтения критического текста, принципиально отличающегося от художественного. Об этом же неоднократно писали С. Бочаров, В. Тюпа и др. На наш взгляд, критический текст следует рассматривать, как метатекст, имеющий свою научную парадигму, как имплицитированный текст, определяющий «условности», характер внутритекстовых связей и отношений, внутренние и внешние границы, внутренние комментарии. Внутренние и внешние границы (в том числе пограничные ситуации) чаще всего связаны с интересом к классической традиции, стремлением её переосмыслить, трансформировать и актуализировать. Возникают, с точки зрения А. Бема, так называемые «литературные припоминания», которые неотъемлемо связаны с «чувством» истории. «Чувство» истории основывается на восприятии прошлого (обратная перспектива по П. Флоренскому) [16] не только как прошедшего, но и как настоящего. Более того, очевидно, что понимание традиции в аспекте её трансформации предполагает особый творческий ракурс, о чём, в частности, свидетельствует бахтинская концепция «памяти жанра», широко вошедшая в литературоведческий оборот. А.П. Чудаков отмечал, что бахтинское открытие носит явный след генетической теории начала века. В одной из записей в черновых тетрадах о Ф.М. Достоевском М. Бахтин писал о «культурно-исторической телепатии», имея в виду передачу и воспроизведение «через пространства и времена» сложных философских, ментальных и художественных комплексов. Более того, критическая рефлексия воспринимает литературу как «резонантное пространство», своеобразное эхо в её внутреннем мире, порождающее дальнейшие отклики. В. Топоров отмечает: «Существованья ткань (имеется в виду литературная ткань) сквозная по своей самой идее резонантна и порождает сближение или повторение, соотносимые с бытием текста, усиливает их смыслы, преодолевая энтропическую тенденцию» [15].

Понятия «восприятия и взаимовлияния», как известно, были предметом дискуссий представителей формальной школы. Иные акценты они приобрели в рецептивной эстетике и поэтике. В работе «История литературы, её проблемы и задачи» Ф. Водичка указывал, что целью исследования могут быть лишь те критические тексты, которые «показывают, как происходит встреча текста художественного произведения и культурно-исторической эпохи». В таком случае реципиентом становится не только читатель, но и сам литературный критик, получающий статус «попечителя литературной нормы» [6, с. 12]. Харольд Блум также связывает понятие рецепции с процессами взаимовлияния и взаимоотражения. В работе «Страх влияния» он утверждает, что влияние менее всего выражается в имитации образов. Процесс взаимосвязей границ и взаимовлияний, с его точки зрения, происходит в культурном контексте, в связи с чем концепция читателя рассматривается как «активная трансформирующая сила» [4]. Эта точка зрения разделяется Х.Р. Яуссом, заметившим, что существенное влияние авторских текстов на реципиента не препятствует наличию многообразных трактовок в критике [18, с. 42]. **Смысл прочитанного постигается только в процессе сложного взаимодействия между критиком, читателем и текстом.** Безусловно, каждому субъекту, каждому временному и пространственному ракурсу присуще своё видение текста, своя интерпретация авторского смысла, зависящая от конвенций той или

иной эпохи, от эстетического опыта читателя. Главное, на что указывают Х.Р. Яусс и Х. Блум, и чем существенно отличается их идея, заключается в следующем: в рецепции нужно уделять внимание не только личности исследуемого писателя, но и личности реципиента, его «горизонту ожидания». В таком случае границы можно усмотреть в акте общения читателя с художественным текстом, учитывая резонантное пространство литературы. Вместе с тем отметим, что Х.Р. Яусс полагал: взаимовлияние характерно больше для литературного процесса, взаимоотражение – для литературно-критического [18, с. 64].

В этом аспекте, как нам представляется, важны влияния и отражения философской критики 20–30-х гг. XIX в. в работах Л. Шестова, органической – в статьях В. Розанова, эстетической – в размышлениях И. Анненского и т. д. Таким образом, взаимоотражение следует понимать как взаимное восприятие, понимание и освоение художественного текста в пространстве культур, вступивших в диалог. Именно эти явления становятся мерцающими границами текста.

Заметим, что культурный диалог характеризуется в критическом тексте абсолютно индивидуальным восприятием различных систем. Например, для Л. Шестова важен С. Кьеркегор, для В. Розанова – А. Шопенгауэр, И. Анненского и А. Закржевского сближает Ф. Ницше. Б. Эйхенбаум замечал: «влияние – частный случай более обширного и сложного явления. Литература эпохи представляет собой не простое собрание единичных, разрозненных или только частично связанных между собой произведений, а некое сложное соотношение, некий исторический контекст» [17, с. 503]. Из этого следует, что тексты могут «встречаться» независимо от намерений их авторов, могут служить предметом «контекстного анализа», реконструирующего общую систему художественного мышления (Ш. Берк) [19]. **В таком случае результатом становится значительная межкультурная интерференция, единая метаструктура, что и подтверждает мысль о том, что критический текст наполняется энергией различных диалогически взаимодействующих субъектов.**

Что же касается термина «интертекстуальность», употребляемого практически в каждой литературоведческой работе (при этом термин трактуется абсолютно с разных, противоречивых точек зрения), следует учесть, что текстуальные и паратекстуальные «вкрапления» в критическом тексте связаны только с функцией лейтмотивов, играющих роль определённых скреп. Интертекстуальность в данной ситуации носит единственный характер и не расширяет, как отмечает Ж. Женетт [8], «смысловой потенциал» текста.

С нашей точки зрения, в литературоведении часто происходит подмена понятий. Для критической рефлексии конца XIX – начала XX вв. характерна интерсубъективность, неразрывно связанная с проблемами границ между взаимовлиянием и взаимоотражением. Процесс интерпретации проясняет читателю семантику текста, исходя из интенций сознания критика. Например, у И. Анненского в статье «Господин Прохарчин» цитируется «Гробовщик» А. Пушкина: «Гробовщик пришёл домой пьян и сердит». Наутро ночной кошмар, оказавшийся только сном, вытесняется из его сознания. С точки зрения И. Анненского, впоследствии этот текст находит отражение в тексте Ф. Достоевского, ибо герой Ф. Достоевского, гонимый экзистенциальным страхом, выходит из своего одичалого уединения в город, и видит бедность, пьянство, пожар... Эти картины соединяются в его предсмертном бреде, возникает чувство, «что он во всем виноват». «Пушкинского гробовщика его вещее сновидение ни к чему не приводит, – замечает критик, – оно скоро забывается, в то время как герой Ф. Достоевского приходит к ощущению собственной вины» [1, с. 138]. **Таким образом, в системе И. Анненского пушкинские мотивы вошли в литературную почву как эхо, то есть стали частью резонантного пространства.** В критике конца XIX – начала XX вв. они приобрели экзистенциальную сущность (оппозиция жизнь – смерть), что, на наш взгляд, является проявлением интерсубъективности. Ассимилирующая, резонирующая способность писателя и критика становится очевидной. Заметим, К. Леонтьев, размышляя о Ф. Достоевском, отмечал, что пушкинский мотив «сеятеля свободы» входит в философский мир писателя («Братья Карамазовы») [12]. «Великий Инквизитор» произносит свой монолог перед молчащим Христом. Он обращается к Спасителю как сеятелю свободы и демонстрирует результат его проповеди свободы, как

поражение. «Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот ты теперь увидел этих «свободных людей». И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо». Ощутима семантическая близость к пушкинскому «К чему стадам дары свободы», но факт знакомства Ф.М. Достоевского со стихотворением А.С. Пушкина окончательно не установлен. Следовательно, речь идёт о «литературном припоминании» и о том, что М. Бахтин назвал «культурно-исторической телепатией». Вряд ли здесь следует использовать термин «интертекстуальность», если понимать его как особую категорию постмодернистского текста, способствующую текстообразованию. Нам представляется, что интерпретация К. Леонтьева объясняется его интерсубъективностью. Что же касается интертекстуальности, то её в критическом тексте можно обозначить как мерцающую границу.

Более того, если обратиться к К. Юнгу, «присутствующему» в системе Ю. Кристевой, то следует уточнить, что К. Юнг, в отличие от Ю. Кристевой, размышляет и о психике писателя, и о психологизме в художественном тексте. Он отмечает, что «великое творение может быть порождено только душой человечества». В системе Ю. Кристевой понятие «душа» исключено, поэтому ряд литературоведов называет данную теорию «механической» (см. В. Тюпа). Вместе с тем в литературной критике конца XIX – начала XX вв. понятие «душа» чрезвычайно важно. Это не просто метафора психической деятельности, обусловленная закономерностями чувственно-предметного мира, а неизъяснимая бесконечность и непредсказуемая творческая стихия, о чём свидетельствуют статьи Л. Шестова о Ф. Достоевском, В. Розанова – о Н. Гоголе, И. Анненского – о Г. Ибсене и т.д. Последователи Ю. Кристевой часто используют её интересные и глубокие размышления, меняя их акценты, и тогда «результат получается один: деконструкция вместо реконструкции, груда обломков вместо целого» (Р. Лахман).

Думается, что целесообразно вспомнить наблюдения К. Леонтьева в его критическом этюде «Анализ, стиль и веяния. О романах графа Л.Н. Толстого» [12, с. 281]. Критик включил в систему общих историко-философских вопросов те замечания, которые были уже известны читателям. Так, П.В. Анненков отмечал, что «речевая ткань» персонажей свидетельствует о том, что Л. Толстой писал «не разумом своей эпохи, а другим, позднейшим», что отразилось в стилистике текста [Цит. по: 12, с. 299]. К. Леонтьев возводит частное наблюдение П. Анненкова в ранг культурологической проблемы: в романе Л. Толстого неизбежно должны были сойтись и встретиться «веяния» разных культурно-исторических эпох. Критик указывает, что для Л. Толстого не важно, как рассуждают его герои, а важна «общепсихическая музыка произведения». «Пьер Безухов и князь Андрей, – размышляет К. Леонтьев, – не читали ещё ни «Лишнего человека», ни «Бедных людей», не знали ещё ни Онегина, ни Печорина, ни Гегеля, ни Шопенгауэра. Но всё это знал уже автор «Войны и мира». Поэтому здесь не может идти речь о прямой перекличке книг и имён, а всё это «умственное и психологическое содержание полувекового развития...» [12, с. 292]. Таким образом, речь идёт о границах взаимоотражения и литературном «припоминании» в резонантном пространстве. Восприятие критиком мира и человека через своё рефлексивное «Я», очевидно, и является проявлением интерсубъективности (как одной из значимых границ текста). Как отмечает Э. Гуссерль, интерсубъективность – это опыт индивидуального «Я», направленный на постижение своей рефлексии и рефлексии сообщества, его бесконечного пространства и, в дальнейшем, формирование интенциональной общности («Пятая картезианская медитация» [7]). Неслучайно И. Анненский назвал свою работу «Книга отражений». Метафорическое объяснение И. Анненского следующее: «Я же писал здесь о том, что мною владело, что я хотел сбересть в себе, сделав собою» [1, с. 276]. Таким образом, метафора становится определённым опознавательным знаком, если её рассматривать как весь текст с теми разнообразными смыслами, которые возникают в связи с интерпретацией критика. Метафора, как мы полагаем, это развёртывание фигуры речи до максимального предела, и так же, как и парадокс, подчёркивает их объединяющую философичность, эстетизм и экзистенцию.

Отметим ещё один аспект: если к поставленной проблеме применить тезаурусный подход (В. Луков), то становится ясно, что можно определить ещё ряд границ, ориентируясь на гипотезу о триодном строе знания (своё – чужое – чуждое). В критическом

тексте, на наш взгляд, можно выделить следующие стадии: априорная стадия (полеми-ческое пространство), тезаурусный щелчок (интерпретация резонантного пространства, мерцание смыслов) и тезаурусный катарсис (итог, вывод). Если полагать, что тезаурус-ный подход рассматривается как подход системный, связанный с «освоением субъек-том целостных фрагментов реальности», полиреальности, необходимостью рациональ-ного или иррационального освоения мира, то он непременно ориентируется на мыш-ление, сознание и рефлексию, выражаемые в знаках сращения смысла и чувственного восприятия. Вследствие этого возникает парадоксальность как неотъемлемая составля-ющая и условная граница коммуникативно-рецептивной системы. Заметим, что в крити-ческом тексте парадокс обусловлен противоречивостью сознания, авторефлексивностью и циркулярностью. Более того, парадокс возникает в связи с переходностью эпохи, её не-классическими, неупорядоченными периодами, которые М. Фуко обозначает как перио-ды эпистемологического беспокойства.

Таким образом, трансформации культурных и литературных текстов, рассмотрение их с точки зрения «резонантного пространства», метафоризацию и парадоксальность, можно определить как особые границы критического текста, связь между которыми приводит к пониманию его целостности.

Список использованной литературы

1. Анненский И.Ф. Книга отражений / И.Ф. Анненский. – М.: Наука, 1979. – 680 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика, Поэтика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 2007. – 606 с.
3. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7-ми томах / М.М. Бахтин. – М.: Языки славян-ских культур, 2010. – Т. 2. – 797 с.
4. Блум Х. Избранное / Х. Блум. – Урал: УГУ, 2008. – 840 с.
5. Боронин А.А. О понятии «граница» в лингвистике (к интерпретации художественно-го текста и его сегментов) / А.А. Боронин // Вестник Сургутского государственного педаго-гического университета. – 2011. – № 4 (15). – С. 46–50.
6. Водичка Ф. История литературы, её проблемы и задачи. Фрагменты / Ф. Водичка // Славяне. – 1958. – № 1. – С. 10–16.
7. Гуссерль Э. Картезианские медитации / Э. Гуссерль. – М.: Академический проект, 2010. – 229 с.
8. Женетт Ж. Фигуры: в 2-х т. / Ж. Женетт – М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1998. – Т. 1. – 944 с.
9. Жеребин А.И. Абсолютная реальность: «молодая Вена» и русская литература / А.И. Жеребин. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 360 с.
10. Зенкин С. Работы по теории литературы / С. Зенкин. – М.: Новое литературное обо-зрение, 2012. – 560 с.
11. Зенкин С. Теория литературы: проблемы и результаты / С. Зенкин. – М.: Новое ли-тературное обозрение, 2017. – 368 с.
12. Леонтьев К.Н. О романах гр. Л.Н. Толстого / К.Н. Леонтьев // Сочинения: в 12 то-мах. – М.: Типография В. М. Саблина, 1912. – Т. 8. – 357 с.
13. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПб, 2010. – 704 с.
14. Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика / Н.И. Надеждин. – М.: художе-ственная литература, 1972. – 572 с.
15. Топоров В.Н. О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) / В.Н. Топоров // Studies in Slavic Literature and Poetics. – 1993. – Vol. XX. – P. 16–61.
16. Флоренский П. Столп и утверждение истины / П. Флоренский. – М.: Печатное Дело, 1994. – 848 с.
17. Эйхенбаум Б. О прозе. Сборник статей / Б. Эйхенбаум. – Л.: Художественная лите-ратура, 1969. – 507 с.
18. Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения Х.Р. Яусс // Но-вое литературное обозрение. – 1995. – № 12. – С. 34–84.
19. Burke S. The Death and Return of the Author / S. Burke. – Edinburg: Edinburg Univer-ситет Press, 2002. – 206 p.